

## Рассказы Наримана

Друг мой Нариман Ибрагимов умер почти сорок лет назад, в конце 1970-х, молодым ещё сорокалетним журналистом.

По причине, так и оставшейся непонятной семье и друзьям. Какой-то диагноз, конечно, написали, но кому от этого легче? Факт тот, что приехал из Ашхабада в Москву на обследование, уже собрался домой, набрал покупок, соскучился по двум дочкам и только что родившемуся Сальманчику, — и во время переливания крови вдруг потерял сознание и умер.

Для тех, кто его знал, это до сих пор рана. И живой, нестираемый образ. Нариман есть Нариман. Умный и весёлый, лукавый и грустный, он успел увидеть и понять в человеке что-то такое, над чем мы все бьёмся и бьёмся — и понять не можем. Тут нельзя не назвать и очень южный город его детства, летом раскалённый, как сковородка, Кизыл-Арват. Из того, что он рассказал и вчерне набросал, можно составить десятки таких рассказов. Что это блистательная проза, он не брал в голову и смеялся, когда слышал: «Вот это и пиши!» Сколько нас таких там в пыли бултыхалось — разве это для книг? Так что мне успелось изложить на бумаге с его слов и после его смерти немного. Остальное — в памяти, в обрывках разговоров, в его доброй и чуткой улыбке: «Ай, Андрюша, всё равно жизнь мудрее нас», — или: «Если конь старается, зачем его хлестать?»

И хоть жизнь, к сожалению, не блещет мудростью, покидая нас и отнимая друзей, и хоть загнанных лошадей пристреливают, есть в рассказах Наримана тот лучик надежды, пусть даже безмерно грустный, с которым мы можем продолжать это наше сосуществование друг с другом, так порой похожее на общение и взаимодействие инопланетян.

Автора этих рассказов нет, но они звучат его голосом. И с его улыбкой, сочетающей вековую мудрость с детским простодушием удивлённости, от которых мы лучше узнаём самих себя. И помянем Наримана.

АНДРЕЙ ТАРАСОВ  
*Ашхабад — Москва,*  
1978–2018

## Мяч

На нашей улице команду набирал всегда хозяин мяча.

А мяч был у каждого. Но смотря какой.

Поэтому перед игрой шла процедура отбора.

Все придирались друг к другу, суетились, склочничали, становились мелочными и просто противными. Каждый до смерти хотел стать фасоней. Фасоня — это и есть обладатель счастливого мяча. Мячи бесконечно проверялись на круглость, на лёгкость, на прочность и даже на прыгучесть. Что вообще заранее невозможно по очень простой причине: все мячи были тряпочными.

Теперь понятно, как недосыгаем был идеал?

Туго скручивая рванины тряпья, ушивая их в мешковине, мы ещё наловчились добиваться кое-какой округлости. Но вот лёгкость...

Конечно, если повезёт найти целый женский чулок да к нему — комок ваты! Ух! Мечта футболиста. Но женщины так хитро их от нас прятали, что хоть весь дом переверни — ни левого, ни правого не найдёшь. На просушке возле них так и стояли, держась за верёвку. Или сушили на руках возле печки. Или на подоконнике при крепко запертых окнах. Просто дразнили близкой недосыгаемостью — настоящее издевательство.

А с ватой разве легче? Единственное место добычи — подушка. Надо ночью, когда все в доме уснут, бесшумно вспороть наволочку и не только успеть надёргать, но и запахнуть вместо ваты тряпки, опилки или просто траву.

Всё это, конечно, до первой стирки. Вот тогда лучше не попадайся, а попался — не обижайся.

Зато если в результате всех ухищрений у тебя появлялся мячик из чулка, набитый ватой... Можешь заранее считать себя фасоней.

Фасоня набирал команду, стоя на каком-нибудь командном бугорке. Остальные тянулись перед ним, вобрав животы и выпятив тощие груди, некоторые даже силились играть мускулами, но уж это было возможно только мысленно. Хоть война уже год как кончилась, и про голод начали забывать.

Слабонервные в отчаянии вскрикивали: — Ты, я тебя брал, да, в команду?

Но им другие претенденты жестоко затыкали рот:

— То в прошлый раз, а теперь в этот стой и молчи, пока не получил, да?

Накопец команда выстраивалась, и сразу началась драка. Дрались за место в другой команде — играть против фасонь.

Побитые с ворчанием усаживались вдоль забора ждать своего часа. Все знали, что игра начнётся — и он тут же пробьёт.

Играть против команды, которая только что вышла из драки, всегда было немислимо. Это была отчаянная команда. Если кому-нибудь из них попадал мяч, то он гнал его «от ворот до ворот» с яростью льва, но упаси бог пробить мимо. Его тут же выгоняли в шею товарищи по своей же команде, и место занимал тот, кто сидел у забора. Конечно же, после небольшой драки.

Отчаянная команда сражалась так яростно, что перевес в пять-десять мячей считался обычным делом.

Тогда все фасони применяли один и тот же подлый приём. Они выхватывали из пыли свой потерявший форму мяч и делали вид, что уходят. Отчаянные, зная, что от них требуется, истошно вопили:

— Давай сначала!

И всё начиналось с нулей и с середины поля.

Но тут, в разгар пятого тайма, из-за угла выскакивала женщина и при этом кричала:

— Вот он, товарищ милиционер! Вот мой чулок!

Все как одна женщины почему-то при этом добавляли:

— Я эти чулки только вчера на базаре выменяла на охапку дров! (Или на десяток яиц, или на три лепёшки.)

Участкового дядю Сашу мы все хорошо знали. Он нас — тоже. Поэтому никто не убегал, а все молча ждали решения.

Он не спеша подходил, нагибался, долго рассматривал мячик как след преступления и двумя пальцами поднимал его из пыли. И становилось ясно, что чулка больше нет. В дырки ключьями лезла серая вата. Женщина начинала плакать и бросать в нас проклятиями, между ними и всхлипами мы различали сумбурные воспоминания о дровах и чулках.

Дядя Саша кивал: пошли. И даже те, кто сидел у забора, шли покорно и молча. В своей большой, пустой, зимой холодной участковой комнате в конце улицы дядя Саша садился за большой пустой стол. Мы — вдоль стенок на лавки. Начинались смотрины.

— Чей мяч?

На лице каждого появлялось такое выражение, что он сразу должен был понять: мяч ничей.

— Кто залезал в форточку?

Враз расправлялись все плечи, и опытный сыщик был должен понять и другое: такие здоровые парни никак не могут влезть ни в какую домашнюю форточку.

— Вату где своровали?

— Пусть не врёт, вата не её, — оскорблённо бормотал кто-то, и становилось ясно, чей мяч, кто лазил в форточку, в чьей подушке обнаружится вместо ваты трава.

Но дядя Саша почему-то не понимал.

— Значит, пишем, что виновник неизвестен.

Поддёрнув за ремнём пустой рукав штопаной гимнастёрки, он начинал неловко писать уцелевшей рукой. Мы, поняв этот сигнал, начинали робко выстраиваться посреди комнаты: длинные сзади, карапузики спереди. И одновременно с последней точкой запевали «Раскинулось море широко». Любимую дяди-Сашину. В первые приходы получалось нескладно, зато теперь — хоть на школьную сцену. Но хулиганов туда не пускали.

После песни на цыпочках, чтоб не спугнуть задумчивость начальника, покидали опасную комнату. И через секунду пыльным клубком неслись по улице продолжать матч.

У нас с братом редко случался пригодный для игры мячик.

А фасони нас в команду не брали из-за хилых коленок. Приходилось много драться за право играть, но и долго сидеть под забором.

И вдруг всё перевернулось.

Что-то случилось с нашим городком. Возле него приземлился целый авиаполк!

Вообще всё вышло из оцепенения, мимо громыхали эшелоны с фронтовиками. Возвращались и наши — кто уцелел. В одних дворах пели, в других — плакали. Одни семьи собирались и уезжали в неизвестные края, другие — прибывали к нам и начинали знакомиться. Движения было много. Но полк — это совсем особенно. Город сразу вырос в наших глазах: оказывается, твёрдый такыр вокруг нас — высохшее морское дно — лучшая в мире площадка для аэродрома. Нигде такой нет. Мы даже загордились.

Солдаты сразу взялись строить военный городок. Офицеров с семьями и поодиночке расселили по дворам. Один капитан остановился у нас.

Легко представить, как мы вдрызг расшибались, когда лётчики по пути с аэродрома останавливались посмотреть нашу игру. Как барахтались в пыли, борясь за мяч, как прорывались к воротам, как смело шли на таран и ложились костями под удар нападающего. Кровь из носу — гвардейское отличие. И всё для того, чтобы наши кумиры подумали: этих парней можно брать в лётчики. Болели они за тех ребят, в чьих дворах жили, нам это добавляло отчаянности. Но тут возникал дядя Саша с очередной жертвой чулка, и мы понуро отправлялись на спевку.

Однажды утром, сидя на корточках возле дворовой печи — тандыра, мы с братом услышали сзади себя странный, ни на что не похожий, звонкий и упругий звук. Мы повернулись к нему.

И остолбенели.

Наш лётчик стоял в дверях своей времянки. Был он хорош в белой, ослепительной чистоты майке, сам коричневый от загара, а плечи — как гири; но главное было в руке, на ладони. Белый-белый. Круглый-круглый, звенящий и гладкий. Мяч.

Настоящий.

Лётчик, слегка улыбаясь, стукнул мячиком в землю. А тот, вместо того чтобы плюхнуться и расстелиться блином, мгновенно и упруго подскочил обратно в ладонь.

Какой умный мяч!

Мы думали, такой бывает только в кино.

— Держи!

Мяч брошен прямо брату. Брат испугался — и мне. Я — лётчику, лётчик — в середину двора.

Одна молодка со смехом катнула бабушке. Та — соседке. Белый круглый мяч прыгал по двору. Все забыли о своих делах, о завтраке, о соседских спорах. Потом он снова послушно прыгнул на ладонь лётчику.

— Вот... — лётчик вдруг стал серьёзным. — Казённое имущество, но жёсткое для волейбола. Отбивает ладони.

Мы подумали, что никаких ладоней не жалко. — Надо хорошенько постучать, чтобы размятчился, — подмигнул лётчик. — Ногами поработайте как следует, пофутбольте. Вы же мастера спорта. Ну-ка...

И бросил мяч мне. Эх!

Мы с братом шли на поле как можно медленнее. Мы нарочно опоздали к набору команд. Дали всем вдоволь подраться. Дали сегодняшнему счастливицу-фасоне, чванясь и важничая, подойти к центру поля, чтобы возложить туда свою тряпочную лепёшку.

Но к фасоне никто не пошёл. Все от него отвернулись. И свои, и противники. Потому что разинули рты в нашу сторону. И фасоня крикнул из своего одиночества:

— Это неправдашний мяч! Склеили из бумаги!

Сейчас, спустя годы, мне его даже жалко. А тогда было нет. Я дождался, когда он подошёл ближе, и так дал в лоб мячом, что он сразу сел. И понял, что мяч не бумажный.

В этот день мы в футбол не играли.

Мы играли в мяч. Перепасовывали головой. Подбивали коленкой. Принимали «на пузо», на грудь. Но ни разу не ударили босой ногой. Мяч изнемогал от наших ласк. Но тут подошёл лётчик.

— Да вы что, огольцы! — крикнул он. — Кто так стучает?

Мы съёжились. Конечно, виноваты. В одном месте с мяча чуть облезла кожа, в другом протянулась царапина. Проклятые камни сплошь усеяли нашу многострадальную площадку. Прощай,

белый круглый настоящий мяч! В фасони ты нас так и не выкатил.

— Я же сказал: колотить со всей силы! Что вы с ним нянчитесь?! Вот так надо!

И дал священному мячу такого пинка офицерским кованым сапогом, что мы думали, мяч тут же лопнет. Но он весело взмыл в небо свечкой, туда, где гудели красавцы-самолёты.

Сегодня мы играть всё равно не могли. Надо было всё обсудить. Договорились на завтра. А пока уселись в кружок и посередине на большой камень водрузили свой мяч. Каждый хотел дотронуться до него. Один — сосчитать, из скольких кусков кожно он шит, другой — рассмотреть нитки на швах, третий — засноуявить царапину, но с них тут же стягивали трусы и заставляли усесться.

Вдруг истошный крик, будто кого-то режут: — Пацаны! Где шнуровка?!

Мы не на шутку встревожились. Шнуровки-то не было! Испуганно вертели мяч в руках. И только после большой паники догадались, что мяч надувается, видимо, через маленькое, едва заметное отверстие и не надо никакой камеры. Мы слышали, что есть такие мячи, но многие из нас в это не верили, а остальные не верили, что когда-нибудь поддержат такой в руках.

Провожали мяч всей ватагой. Когда мы с братом вернулись во двор, остальные долго и сиротливо стояли у нашей калитки.

Оказывается, и летняя южная ночь может быть изнурительно длинной, бессонной. Мы ворочались на топчане под виноградником, а между нашими подушками покоился мяч. Мы поочерёдно щёлкали его и, приложив ухо, слушали таинственные звуки внутри гладкого упругого тела. Мяч звенел изнутри. А под светом луны отливал серебром.

Рассвет мы проспали. Оказывается, петуха, который всегда нас будил, ночью вместе с курами украл. Как же они ухитрились, если мы, не смыкая глаз, щёлкали по мячу?

Зато на поле все уже были в полном сборе, и даже с излишком. Сегодня всякая драка была бесполезна — никого не заставить сидеть под забором. Поэтому играли все. По двадцать футболистов в команде, не хватало только свистка и судьи. Но нашлись и они. Участковый дядя Саша, привлечённый яростным гвалтом, решил, что в городе наконец совершилось преступление, и ускоренным шагом шёл к нам. Увидев мяч, он тоже как бы застыл в изумлении, хотя видел в жизни много чего больше нас. А затем, схватившись за свисток, издал залиvistую милицейскую трель и побежал к центру.

Мы ринулись в игру. Она не останавливалась, хоть свисток и верещал непрерывно, фиксируя подножки и толчки, игру рукой, дёрганье за трусы и за волосы и множество других футбольных преступлений. Все кричали хором:

— Штрафной, штрафной, пеналь, офсайд, аут! — но клубок исцарапанных тел с мячиком посередине без останков катился от ворот до ворот.

Четыре раза он успел перекачаться туда-обратно, когда последовал первый несильный удар по воротам, но для нас это был удар похоронного грома.

В воротах в то время стояли самые непригодные. Не знаю, как в Москве на «Динамо», а у нас только хромые и толстые, кому нечего делать в поле. Ставили их в ворота насильно, и это было равносильно позору. Часто и этот вопрос решался дракой.

У нас стоял в тот день толстый Сусран. С лица его не сходила плаксивая гримаса, но спину он добросовестно выгнул, а ноги растопырил, подражая тем вратарям, которых видел в кино. Ему-то и достался исторический первый удар.

Сейчас толстый Сусран работает диктором на радио. Я, как услышу его бархатный голос, начинающий репортаж с футбольного матча на стадионе «Копетдаг», моментально выключаю приёмник. Это кажется мне кощунством. Всё моментально оживает перед глазами.

Бил же, наоборот, Кекос. Он сильно размахнулся, но надо знать Кекоса. Большой палец босой ноги ковырнул ногтем землю, наш везун взвыл от боли и покатился в одну сторону, а мяч тихо-тихо в другую. В ворота Сусрана.

Толстый Сусран мог остановить его взглядом. Мог медленно и лениво выставить толстую ногу, мячик сам бы уткнулся в неё. Но он подражал вратарям из кино и поэтому поступил иначе. Он дождался мяча, прицелился и тяжело плюхнулся животом в землю. На то место, где мяч уже прокатился.

Все закричали:

— Гол! Гол! Гол!

И какой гол!

Из-за угла выскочила полуторка. Единственный грузовик в нашем городе. Наша четырёхколёсная радость. Сколько раз, бросив даже футбол, мы гонялись за ней, вскарабкиваясь на ходу в щербатый кузов, сколько раз мыли, помогали ремонтировать, качать шины! Вот эти истёртые лысые шины, под которые безмятежно катился пропущенный толстым Сусраном мяч.

Хлопок.

Нет, взрыв. Такой взрыв, что полуторку снесло в сторону. Шофёр Митя, гордость всего городка, вспомнил «путь-дорожку фронтovou» и выскочил, чтобы залечь в кювет. Потом два раза обегал вокруг машины, постукал по скатам, ничего не понял, погрозил нам кулаком и укатил. Всё стряслось в один миг. Мы стояли в ужасе, даже не пытаясь забросать машину камнями, хотя её следовало разнести на куски.

Но куски остались только от мяча, жалкие пыльные клочья на глинистой мостовой. Его камера, оказывается, внутри была красной. Мы

повернулись к Сусрану, чьей крови сейчас жаждали. Сорок пар глаз. Но его уже не было. Его не было ни в воротах, нигде.

Оплакивали мяч в курятнике, где никто не мешал. Петуха с курами ещё не успели найти и водворить на место, чем заканчивалось каждое местное воровство. Тишина нам сочувствовала.

Как сказать лётчику?

Как смотреть ему в глаза? Как смотреть в глаза всем лётчикам, которым теперь нечем играть в волейбол? Которые доверили нам... А если бы это было боевое задание в самолёте? Кто после этого нас к нему пустит?

Мы не могли смотреть друг на друга. Таких надо только расстреливать, и никакой пощады. Этот мяч прилетел в самолёте из самого Китая. Больше таких нигде нет. Нигде, никогда. Даже старый фасоня не радовался, хотя комкал в руках свой чулок. Кто же полетит в Китай за новым?

Вдруг возле курятника, снаружи, раздался тот знакомый, всем уже снившийся стук-стук-стук. Тот же звонкий и вызывающий. Мы оцепенели, не веря ушам. И осторожно, как разведчики, высушили.

Мяч воскрес!

Только не белый, а жёлтый. Он так же стучался о землю и так же ловко впрыгивал на ладонь нашего с братом лётчика. Круглый-круглый, жёлтый-жёлтый.

— Эй! — окликнул лётчик. — Что вы там сачкуете? Бензин кончился? Ну-ка, нате, повкальвайте, не жалейте шассей. Наши не любят, когда отбивает ладони.

И бросил нам мяч, и засмеялся прекрасным сильным смехом лучшего в мире лётчика — победителя всех врагов. И повернулся уйти.

Тогда мы увидели чудо у него за спиной.

Чудом была сетка, а в ней — целая куча мячей, наверное, семь или десять. Круглых, цветных, настоящих. Какого хочешь цвета.

Дальше почему-то вспоминается не игра. А нечто совсем другое. Например, что тогда у нас в городе не было ни одного светофора. Про них только рассказывали — те, кто выбирался с родителями в Баку или Ашхабад, чьи рассказы звучали неправдоподобно. Ну как это: все останавливаются или все едут, когда горит разный цвет? Хоть бы глазком увидеть. Другой мир.

И вот светофор повисил, ощущение светофора от сетки новых цветных мячей. Открывающей нам путь в новое будущее...

## Горбушка

Обычно всё решалось на большой перемене, когда и раздавали хлеб. Но сегодня почему-то принесли раньше, и нарезанные кусочки — наши пайки — ждали на учительском столе, мешая читать и считать. Все силы организмов шли на сглатывание

слюны. Запах хлеба был такой, что хватай и беги. Мы бы это и сделали, если бы не новая учительница. Она приехала откуда-то издалека и была очень красивая, и мы её стеснялись и поэтому сидели все тихо. Делали вид, что решаем задачу.

На самом деле задачу мы решали совсем другую. Особенно Кекос. Только учительница поворачивалась к доске, он делал стремительную перебежку к передним партам и что-то там кому-то внушал на ухо, добиваясь согласия. А если согласия не было, то он подтверждал сказанное грязным кулаком, сунутым в нос. Помня силу Кекосова щелобана, от которого гудела любая башка, несогласный скисал и кивал. Всё это Кекос успевал проделывать до того, как учительница отрывала мел от доски. Обернувшись, она заставляла его уже сидящим на месте с преданным лицом и выпученными от усердия глазами.

Так он прокладывал путь горбушек к нам на «камчатку», в зависимости от того, с какого ряда начнётся раздача. Нужно было учесть множество нюансов. А то как ни начнут — не видать нам горбушек. Расхватывают по пути. А жизнь без горбушек — не жизнь. Во-первых, поджаренная корочка вкуснее. Это, как нам объяснили, аксиома. Во-вторых, горбушка легче мякоти. Проверено не раз на химических лабораторных весах. А это значит, при развеске получается кусок больше. В-третьих, твёрдую корочку не так быстро сжуёшь, можно долго сосать.

Эту арифметику мы за четыре года войны во как выучили. Было за что повоевать.

Наконец звонок. Класс напрягся. Кекос пристал, чтобы видеть, куда надо ринуться. Учительница ещё только подумала бы, с какого ряда зайти, а он уже оказался бы там, на месте его послушно соскочившего хозяина. Новая учительница ещё не запомнила, кто где сидит.

Но случилось невероятное. Она взяла поднос и направилась к нам.

Клянусь!

К нам, на задний ряд.

Бедняжка, она же не знает, что нас, сидящих там по второму и третьему году, не исключили из школы только потому, что махнули рукой. Отцы наши, может, сгнули там, куда ушли все мужчины. Без геройских наград, без писем и извещений. У матерей сил не хватало кормить семью, никому мы не нужны, живём как можем.

Но учительница точно шла к нам. И первому Кекосу подставила поднос с хлебом:

— Бери.

Кекос сполз с парты, как сползает боксёр после тяжёлого удара. Стесняясь смотреть на учительницу, он тихо ответил:

— Сами дайте.

Впервые за все годы войны мы остались в классе после раздачи хлеба — так решил Кекос. Но вскоре

он об этом пожалел. Потому что первым, кого выносили к доске, был его друг Топор. А Топора, все знали, вызывай не вызывай — всё равно двойка. Но сейчас Топор делал вид, что получает её из-за Кекоса. Ведь он решил остаться в школе, где после хлеба нам нечего делать. Топор от доски смотрел так, будто Кекос слопал его кусок. Кекос, который учил его играть на гитаре и отбивать чечётку с выходом, который обещал, что они вместе — Кекос на мандолине, а Топор на гитаре — скоро будут играть в ресторане джаз-банд. Имелась в виду наша городская столовая. Топор слуха совершенно не имел, пальцы у него от струн облезли и болели, но, предвидя сытые вечера, он старался, а Кекос, как учитель, радовался.

И вот он не выдержал укоризненного взгляда, взывавшего к его потерянной из-за горбушки совести. Ещё и толстый Сусран чихнул, что всегда предвещало двойку.

Кекос зажгёт киноленту.

В густом дыму сквозь девчоночий визг слышался голос наглеца Топора, который застрял с Сусраном в окне и заверял учительницу, что сейчас вернётся к доске.

Так вся задняя скамья и перекочевала на веранду к Сусрану. Теперь мы лежали на её тёплых досках и слушали, как Сусран донимал свою бабу. Целью его была где-то спрятанная банка муки. Он сидел на корточках и, вытянув палец, канючил: — Одну! Одну только...

Мы втайне надеялись, что одной лепёшкой дело не ограничится. Вдруг повезёт на две маленькие? Но сами же и понимали бесплодность этих мечтаний.

Бабу Сусрана звали на нашей улице Офидер немецкой разведки. Она была высохшая, как клюка, и одноглазая, а в углу рта всегда сжимала папиросу. И по тому, как она спокойно сейчас пыхла, было яснее ясного: орать Сусрану ещё долго.

Эту банку муки она когда-то выменяла на кольцо и держала на случай, если бы, скажем, Сусран умер. Но он же не умер.

А наоборот, орёт что есть силы, что хочет есть. Лепёшка должна была поднять авторитет Сусрана в наших глазах, и он очень старался. Нам особенно нравилось, как, задрвав подбородок, он закатывал глаза и завывал по-собачьи:

— Есть хочу-у!

Бабка в ответ делала «пых» такой порцией дыма, что у всех нас слезились глаза.

Когда он не выдерживал и, хлопнув калиткой, уходил на улицу отдыхать, Кекос тоном клубного конферансье объявлял:

— Первая часть концерта окончена! В перерыве — танцы! — и удобнее растягивался на старенькой кошме.

Во второй части Сусран должен был вернуться, держась за живот. И, не отвечая на бабкины

вопросы, с тихим стоном лечь на кровать—такие номера иногда проходили.

Но в этот раз он явно переиграл. Он ворвался во двор с таким криком, будто его укусила оса. Даже мы поверили в его заворот кишок. Он выкрикивал какое-то слово, тыча пальцем в калитку, будто там привидение. Когда же мы расслышали, то сами подскочили, как на пружинах. Это слово в то время могло поднять мёртвого из могилы.

— Мука! Там мука!

Мы прильнули к забору. И точно. Чуть поодаль на улице, у соседнего дома, стоял «студебеккер» с крытым кузовом. Задний борт был обильно припудрен белой пылью, и сомнений не оставалось: в машине мука! Кто же оставил её без присмотра? Что делать?

Кекос первый принял решение. И страстно зашептал свой план. В плане был только один изъян: ждать сумерек. А до сумерек животы совсем скрутятся. Или машина уйдёт. Или сторож придёт. Невыносимо. Топор предложил встречный — «на хапок».

Это значило, что каждый черпает из машины по миске муки и убегает. Но тут же получил щелбан от Кекоса. Пока каждый залезет и слезет, пока зачерпнёт и рассыплет...

— Мука тебе не дыня, хапушник!

Скажет же Кекос: дыня!

Дыни нас в войну от смерти спасли. Правда, летом. Что спасло зимой—не поймём сами. Летом идёшь на базар. Там большие и маленькие горки: дыни, арбузы, виноград, помидоры.

Хватай и беги.

Догоняют—быстрее пихай в рот. Поймают... Ну что ж, разок-другой по шее—за съеденное и пострадать не страшно.

Ещё можно стать пачахчи—кожурятником.

За ведро кожурок для домашнего скота хозяева давали кусок хлеба величиной с ладонь. Взрослому. А иногда в придачу шоколадную конфету. Но конфету просто так никто не съедал. Есть шоколадную конфету при всех нельзя—всегда найдётся силач и отнимет. В одиночку—кто же поверит потом? А хотелось, чтоб знали: этот съел шоколадную конфету! Поэтому конфетой густо обмазывали рот и пузо, что для всех окружающих значило: я обелся шоколадных конфет.

Но, чтобы быстрее набрать ведро корочек, надо прежде всего иметь вид. Вид—это ножи веером и белоснежная салфетка, перекинутая через локоть. Ну и стремительный подлёт к клиенту, лихой и бывалый, вежливый и сноровистый. Только ножи наши были из тех, что давно выброшены хозяйками за ненадобностью. А «белоснежную» салфетку из-за мух и липкой грязи совсем было не разглядеть. Но что поделаешь—чем богаты, тем и рады.

Итак, стремительный и радостный подлёт к потенциальному клиенту—ведра бьют по ногам,

одно уже полное кожурой, второе наполовину. Кожурки рассыпаются, слева и справа рысью мчатся соперники-конкуренты, друзья-пачахчи, кругом суетолика и пинки сердитой базарной толпы.

Подлетишь с ветерком—и промахнёшься. Клиент оказался такой, что не только сладкую дынную мякоть—кожuru проедает до дыр. Такому потом нашего ножа не видать. А нравились нам офицеры с солдатами. Особенно лётчики. Лейтенант с девушкой—это просто богатство. Его великодушие и щедрость безграничны—если он ей берёт одну дыню и один арбуз—ведро, считай, полное. Столько мякоти на корках нам никто больше не оставлял.

Ещё везёт, если солдат попросит выбрать ему дыню. Усадишь солдата на камушек в тень и выполняешь боевое задание. И продавцы тебя уважают—тогда ещё в этой торговле знать не знали, что такое весы. Если бы кто, продавая, начал взвешивать дыню или арбуз, его бы не только прогнали с базара, а эти продукты разбили бы о собственную голову. Примеривались на глазок, торговались, кричали, что дорого, а в это время под шумок ещё откатываешь назад из-под себя ближайшую дыню... В цирке за этот фокус исполнителю хлопают, а на базаре шею бьют. Если поймают. Но попробуй поймай. Дыня с бугорка хорошо катится. Там пацаны наготове, знают, как поступать дальше.

Хорошо летом на базаре. Но до лета ещё далеко. А мука—вот она, уже созрела. Только взять надо. Сусран, после того как успокоился от крика, предложил дымовую завесу. Кекос в наказание поставил его дальше от машины, на углу двух наших узких кривых улиц, «на атасе». Наказание состояло в том, что Сусран боялся остаться без муки, пока он там топчется вдали от главных событий.

Пока совещались, наступили и сумерки, можно было выполнять план. План был простейший. Сам Кекос смело ныряет под брезент и насыпает прямо из мешка полное ведро, которое держит под бортом преданный учителю Топор. Я в это время прикиваю глазом к щели калитки, за которой кейфует у родственников шофёр грузовика. Если кто-то оттуда появится, мне приказано орать что есть силы: «Дайте щепотку чая!»

К счастью, никто не появился, и ведро было наполнено с молниеносной быстротой. Когда мы ввалились с ведром муки, единственный глаз бабки расширился, а тот, стеклянный, чуть не выпал. Стало интересно: его можно подержать на ладони?

Бабка поднесла к ведру фитиль лампы и потёрла муку длинными тощими пальцами. После чего изрекла:

— Разве бывает мука выше высшего сорта?

— Конечно, бывает!—пробормотал Сусран, торжествуя за свои унижения перед бабкой и показывая,

## Сцены у базара и фонтана

Первого сентября Кекоса выгнали с первого же урока.

Говорил я ему:

— Не дерись на танцах с мужем учительницы!

Но он удержаться не мог, потому что любил её. Это было общеизвестно, и никто над ним в школе не смеялся— все там были сильно младше его, в шестом классе он начал бриться. К этому времени у нас уже у всех полезли усы. А на одних партах с нами сидели совсем дети, мы ждали их три года войны, когда занятий почти не было, потом три года после, когда всё начинали сначала, и вот уже скоро в армию, а проклятая алгебра никак не давалась.

Мы свои ушки выставляли напоказ, хоть по три волосинки, а Кекос почему-то стеснялся и впервые пересел на переднюю парту. Это новая учительница его пересадила. Она думала, он лучше будет понимать. Но Кекос больше понимал совсем в другом. Он всё время что-то ронял: то ручку, то тетрадку, то карандаш, то резинку, то линейку, то транспортёр. И каждый раз долго доставал, пыхтя и возясь под своей первой партой; он проводил там по пол-урока, и причиной тому были ноги учительницы. Таких белых ног мы не только не видели никогда, но даже и не думали, что они могут быть. Это было что-то волшебное, как будто несуществующее. Возникал даже спор, свои они у неё или приделанные, из какого-то особого материала. Вместо того чтобы делать уроки. Учительница ничего не могла понять и только повторяла:

— Ты когда-нибудь вылезешь из-под парты?

Кекос пыхтел оттуда:

— Сейчас.

И через три минуты что-нибудь снова ронял.

Кончилось тем, чем должно было кончиться. Однажды на уроке учительница дёрнулась, как от тока, и громко вскрикнула. Сначала мы думали, её там укусила крыса, но потом оказалось, это Кекос, а не крыса. Он дотянулся из-под парты под учительский стол и потрогал её ногу. Удивительное было не в том, что он наконец это сделал, а в том, сколько он до этого терпел. Эти белые ноги лишили его сна и покоя, а мы знали, что если Кекос потеряет из-за чего-то покой, он этого обязательно добьётся.

Например, пальто. Пальто в нашем климате никто никогда не носил. Как ненужную роскошь. Зимой хватало и свитера под пиджаком, а то и просто толстого шарфа. Ватная фуфайка считалась шубой, и те несколько морозных дней с редким снежком, которые выпадали за зиму, в крайнем случае можно было перебиться под крышей. Так бы и не узнали о необходимости этой принадлежности мужского гардероба, но, на беду нашу, в клубе косяком пошли трофейные фильмы. Настоящие мужчины в них представляли одетыми в элегантные

кто хозяин этой прекрасной муки, но в то же время помня, что если не бабка, то некому и лепёшку испечь. Он уже по-хозяйски запихивал в печь саксаулину.

И бабка сдалась. Опасаясь, что её обделят, она не без угодливости заметила, что будет вкуснее, если эту очень белую муку смешать с её ржаной. Никто не возразил. Вкуснее так вкуснее.

Май в наших краях уже жаркий, почти лето. А когда Сусран докрасна раскалил печурку, в комнате и дышать стало нечем. Открыть же окно или дверь он ни за что не соглашался, твердя, что кормить всю улицу не собирается, на это и целой машины не хватит. Мы, забившись в угол, потели от жары и от предвкушения.

А бабка всё тащила и тащила из сундука свои свёртки, тряпки, чашки, пиалы, ложки, плошки, докапываясь до заветной банки с мукой. Сусран на всякий случай запоминал бабушкин тайничок.

Наконец бабка расстелила на полу скатерть, а на ней клеёнку. От этих приготовлений голод в нас разгорелся с силой пожара. Вот она смешала в тазике почти полведра белой и банку чёрной муки и сказала:

— Лей!

Свершилось. Сусран всю жизнь этого ждал. Вода с бульканьем просочилась меж бабкиных пальцев.

— Отменные будут лепёшки,— заколдовала бабка с замесом, и мы явственно почуяли их запах.

Но что это? Она не может оторвать пальцы от тазика! Поднимает руки—и вместе с ними таз! Сусран в него вцепился и тянет назад:

— Отдай, старая!

Она с ужасом смотрит, думая, что он отомстил ей за жадность, и оттого, как в полумраке зловеще засветился её стеклянный глаз, нам стало страшно.

Тесто в тазу окаменело, и бабкины руки оказались замурованы в этот камень. Кекос схватил лампаду, добавил фитиля и кинулся к ней, как огромная птица, пощупал, посветил и сказал единственное роковое слово.

— Гипс...

Вот что было в бумажных мешках в «студбеккере». Вот почему его никто не охранял. Мы на него за войну насмотрелись на руках и ногах раненых в госпитале. А про порошок даже забыли.

Значит, бабка высыпала в гипс свою последнюю муку, и надеяться не на что. Ещё одну ночь будем бороться с голодом, стараясь уснуть поскорее. А в глазах только одно: большая перемена и раздача кусочков хлеба. Кому перепадёт горбушка?

Казалось, не было той силы, которая бы не пустила нас в школу к этой горбушке. Но утром мы в школу не пошли, потому что нашли дела поважнее. И никакая горбушка не могла нас туда затаскать. Утром объявили День Победы.

длинные пальто и плащи с сурово поднятыми воротниками и в надвинутые на лоб шляпы. Мы захлёбывались, перескакивая друг другу много раз всеми виденные «Сети шпионажа»:

— Да, ты, он ему в спину должен выстрелить, а он его друг, и он так идёт сзади, и руку в карман, достаёт в темноте, и щёлк — там зажигалка. Он сигарету прикуривает, ещё так затягивается, и вдруг — бах, с другой руки, с левой, незаметно достал пистолет из другого кармана и выстрелил в спину, да, ты?

Из всего этого было ясно одно: настоящий мужчина должен ходить в длинном перепоясанном пальто или плаще с поднятым воротником, а не в куцем бумазейном пиджачишке с грязным шарфом.

Кекосу пора было стать настоящим мужчиной, особенно в глазах новой учительницы. И он знал, как этого добиться. Потому что знал, где отец с матерью прячут накопленные деньги. Конечно, под своим матрасом, где же ещё? Как и в каждой городской семье. Как настоящий разведчик, он выждал, пока из трёпанных трёшек и двадцатипятерок не набралась нужная сумма, намеченная им в городском магазине. Там и висело длинное пальто песочного толстого драпа с заветным пояском, таким широким и внушительным, что Кекос просто млеет. Мы все знали, что ему грозит за изъятые из-под матраса сбережения. Но знали и непреклонность Кекоса. Он назначил нам день, когда пройдёт по городу в новом пальто, как герой трофейного фильма. Только собственные родители были единственными, кто не подозревал о его замысле. Деньги набрались почти к лету, и неудивительно, что пальто долежалось — теперь его сезон надолго прошёл. Но Кекос не мог ждать до осени. Как только под матрас легла последняя трёшка, он в сопровождении нас всех направился в магазин промтоваров. Это было людное шествие, потому что каждому по пути объявлялось: Кекос идёт брать пальто! Многим хотелось увидеть собственными глазами, как это перед летом, когда надо покупать тапки и майки, человек покупает пальто. Он примерял его так и эдак, скрывался в кабине со старым треснувшим зеркалом, высовывал голову между шторок, звал по одному ближайших дружков дать совет и оценку. Оценки были самые высокие, а советы осторожные. Слишком хорошо мы знали отца Кекоса, человека непредсказуемого нрава из-за ранения в голову. Он вернулся с войны не сразу — долго лечился по госпиталям и вместо наград принёс справку, что ему всё можно и он за себя не отвечает. Так её переводил с медицинского языка сам Кекос, и мы всё время ждали от его отца, заросшего могучей чёрной бородой, но лысого, как бильярдный шар, с красноватым шрамом поперёк этой лысины, какого-нибудь необыкновенного подвига. И вот, кажется, час этого подвига наступил.

Кекос шёл по улицам во главе многолюдной процессии. Солнце палило всюю, остальные прохлаждались в рубашках и майках. Кекос же обливался потом в плотно застёгнутом жёлтом пальто, туго подпоясанный широким ремнём с пряжкой, утопив подбородок в поднятый, простроченный с изнанки, воротник. Он удлинит свой мучительный путь, сделав крюк возле школы, где надеялся быть увиденным новой учительницей. Это был путь героя перед тем, как лучший друг выстрелит ему в спину. И одновременно путь агента, которому поручили убить лучшего друга. Общий вид немного подпорчивали саиновые шаровары и сандалии на босу ногу, чего мы сроду не видали на агентах, щеголявших лакированными штиблетами и складками на выгуженных брюках. Но Кекоса это не смущало, брюки и штиблеты он считал делом второстепенным.

Возле школы он постоял минут десять и выкурил две папиросы. В открытых окнах скучилась малышня, из учительской остолбенело пялились завуч с директором. Такой наглости они не ожидали даже от закоренелого многогодника с усами. Только когда за их спинами мелькнуло лицо сероглазой учительницы в обрамлении светло-солоненных волос, он шикарным щелчком стрельнул окурком в радостную свиту и повернул к дому.

Там его ждал отец, предупреждённый о событиях несколькими сменами гонцов. Сначала о том, что сын Кекос очистил подматрасную заначку и несёт её в магазин, в чём он сразу же и убедился, отвернув угол матраса. Затем о том, что похищенная сумма достигла промтоварного магазина и приблизилась к отделу верхней одежды. Затем — что сумма превратилась в светло-жёлтое пальто и теперь движется назад к дому. Шрам поперёк лысины стал раскалённым, а в руках у него появились огромные портновские ножницы, которыми он защёлкал и залазгал в ожидании блудного сына, приплясывая перед своей калиткой. Рано или поздно, как ни крути по другим улицам, которым Кекос хотел показать себя, ему пришлось пойти и по своей.

Он шёл с выражением лица из кинофильма «Судьба солдата в Америке», а те, кто бегал доносить отцу, и те, кто доказал свою верность, шли теперь в единой процессии сзади, как на похоронах или на первоймайской демонстрации. Все знали, что его отец копил деньги на швейную машинку, и ожидали развязки.

Увидев на расстоянии двух маленьких переулков такого красивого сына, отец ещё яростнее защёлкал ножницами и закричал:

— Иди, иди, ближе иди! Ты думаешь, ты пальто купил? Ты смерть свою купил!

Многие думали, что после этих слов Кекос обратится и бросится назад, подальше от отцовских объятий.

Но он решил доказать кому надо, и только капельки пота выступили вокруг тёмных усиков. Он шёл вперёд, не сворачивая, прямо на лыж огромных ножиц, только побледнев и устремив взгляд выше заборов и крыш, к горизонту, показывая свою непреклонность.

Мы думали, ножницы перережут Кекосу горло или хотя бы отхватят нос. Но отец с красным шрамом выбрал самое оригинальное и неожиданное для нас всех решение. Он схватил мужественного сына за поднятый воротник, и через секунду этот воротник отделился от пальто и остался в руках у отца. Со свирепой улыбкой папаша схватил сына за рукав и за три могучих щелчка сдёрнул рукав с руки, отбросив и его в сторону; то же самое произвёл и со вторым. Кекос стоял, как в примерочной, с голыми руками и шеей, но не пошевелился, проявляя высокое мужество. Отец дико захохотал, ножницы, ликуя, заходили по бортам, отворотам, полам, спине, ключья красивейшего жёлто-песочного драпа летели направо и налево. Пальто превращалось в ничто.

Кекос стоял, не шевелясь, подняв подбородок и не издавая ни звука. Теперь он был партизаном под пыткой в гестапо. Отец не переставал хохотать, приплясывать, метать из шрама молнии, и мы теперь воочию видели, что такое волшебная справка. Действительно, человек без такой справки просто бы снял с Кекоса пальто и отнёс обратно в магазин, получив свои деньги назад. В крайнем случае продал бы на базаре или на вокзале проезжающим пассажирам. Справка же позволяла отцу как бы лично своими руками изрезать громадными ножницами собственные сбережения на швейную машинку и не бояться, что жена, мать Кекоса, проломит ему за это голову утюгом, как раз по красному шраму, пересекавшему череп.

Нам бы всем по такой справочке. Сколько полезных дел можно было бы совершить на базаре, вокзале, в кино, в школе, в промтоварном и продовольственном магазинах! Чуть что, достал, показал учителю или милиционеру — и беги себе дальше.

Кекос, показавшись в пальто учительнице, счёл его назначение выполненным и поэтому, наверное, не оказал должного сопротивления, хотя перерос отца уже на голову.

Через несколько дней после этого он созрел и до касания учительской ноги. Наверное, подумал, что человеку в пальто можно всё.

На педсовете, к сожалению, по указанным причинам он стоял не в пальто, а в нормальных своих синих шароварах и застиранной рубашке. Но с видом вполне пальтовым, молча и отсутствующе, как угрозы в гестапо, слушая, кто он такой. Конечно, и бандит, и хулиган, и психопат, и кретин, и дебил, и недоразвитый, и умственно отсталый. Всё это он вынес молча и героически, упёршись подбородком в грудь. Как всегда у нас, сначала обругали

всяческими словами, а потом спросили, почему он так сделал. Что он должен был им сказать? Что думал до сих пор, будто чёрный цвет пыльных пяток, дочерна загорелые икры всех городских девочек, женщин и девушек и есть их самый естественный вид? И что эта приезжая белизна женских ног вызывала самые необыкновенные чувства, которые так трудно выразить известными ему словами? Крики «говори!», «отвечай!», «чего молчишь?» стучали в ушах, подгоняли, требовали, перебивали мысль, наводили тоску. Он был готов терпеть любые пытки в гестапо, но учительская была недостойна его героизма, и он сказал: — Я думал, они протезные.

Из всего педсовета только один человек проголосовал за то, чтобы Кекоса не исключили из школы сейчас же, а объявили последнее предупреждение. Это была сама новая учительница. Она сказала какие-то странные слова, будто бы из знакомого кинофильма, но из какого — забыл, то ли из «Секретной миссии», то ли из «Индийской гробницы».

— Я не хочу, чтобы из-за меня была разбита эта судьба, — услышал он.

Этого хватило, чтобы Кекоса оставили с последним предупреждением, но только до первого сентября. Потому что первого сентября на педсовете обсуждали уже его драку на танцах с мужем учительницы, который захотел вступить за честь своей жены и потребовал, чтобы Кекос не смел до неё дотрагиваться своими грязными лапами. Как будто Кекос намерен был продолжать это делать на каждом уроке. Его вообще уже снова пересадили на заднюю парту, так что это при всём желании сделалось невозможно. Но Кекос на танцах повёл себя так, будто был намерен именно каждый день на каждом уроке продолжать начатое и хочет отстоять это священное право. Муж учительницы — капитан танкового полка, и силы на танцах были явно неравны. Кекос пострадал дважды — сначала там, потом в школе. Но и это — не главные удары. Первого сентября в школе не оказалось и самой учительницы. Она с мужем переехала на новое место службы. Наверное, на повышение. Остался один педсовет, который довершил начатое.

Да Кекосу уже и не нужна была школа. Свободно вдохнув полной грудью пыльный наш, прогорклый и прожаренный воздух, он полностью отдался игре в лянгу и альчики за школьной уборной, где был клуб всех сбежавших с уроков. Там с цирковой ловкостью мелькали босые чумазные пятки, взлетали мохнатые блямбы, хлюпали сопли, вспыхивали моментальные ссоры и драки из-за перескока со «сто одиннадцать» на «сто пятнадцать», причём здесь все оказывались успевающими по арифметике, слышалось визгливое «ата!» при появлении дежурного учителя. Только Кекос мог при этом не рвать с толпой голопузых прогульщиков

за глиняную ограду, а спокойно, вставив в зубы окурок «Прибоя», встречаться как равный с равным и даже здороваться за руку.

Только наступившая зима отгоснила его с улицы в дом. В крайнем случае — в автобус с зафанеренными окнами. Этот единственный в городе автобус трясся по единственному маршруту — от базара до вокзала и обратно — с долгими остановками, на которых водитель Фарад то обстоятельно беседовал со знакомыми парнями, то подливал воду в мотор, зачерпнув её брезентовым ведром из арыка. И самым постоянным и преданным его пассажиром стал Кекос, начавший даже выполнять мелкие шофёрские поручения.

Весной он уже по-настоящему вышел на работу. Работу Кекосу искали всем городом из уважения к отцовскому шраму. Она должна была быть такой, чтобы туда не страшно было опоздать. Но в то же время — чтобы там ничего не могло взорваться или загореться, ударить током или ошпарить кипятком; чтобы какой-нибудь керосин не мог залить мешки с сахаром, а отснятая фотокассета вместо красного света не вылезла прямо на белый. По этим многочисленным причинам одна работа за другой отпадали, пока, наконец, стараниями самых дальних родственников не нашлась та, что надо.

Сладостным весенним утром, не слишком рано и не слишком поздно, Кекос выходил за порог и брёл между дувалами, как бы куда-то не спеша. В одной руке у него был пакет с каким-то порошком, в другой — мандолина. Тем и другим он время от времени замахивался на баранов, привязанных на молодой траве возле каждого дворика, или сбивал цветы с веток распушившейся алычи, и они осыпали его плечи и чёрную голову мягким снегом белых лепестков. Успев раз-другой погнаться за непочтительными, на его взгляд, пацанами, раз-другой дёрнуть так же от взрослых, которым сам он показался непочтительным, забравшись на несколько крыш и деревьев, заглянув в несколько сараев и прокатившись на двух-трёх ржавых и скрипучих чужих велосипедах, он, наконец, приходил к месту своего трудового подвига.

Это были покрытые весенней травой и алыми полянами тюльпанов загородные холмы, необозримый простор, ещё не испелённый летним яростным солнцем. Что должен был делать Кекос, ступив на эту землю в момент её краткой неопикуемой красоты, дарованной природой будто по недосмотру, чтобы сейчас же вернуться и отобрать? Ведь это про наш город, не про какой-нибудь другой, во всех частях Туркестанского военного округа говорили: «Зачем Богу ад, если есть Кизыл-Арват?» И мы этим очень гордились. Но тут была короткая минута истинного рая. И в этот-то рай Кекос должен был высыпать ядовитый порошок из своего пакета. В круглые аккуратные дырочки

сусличьих норок, в жилища плодовых зверьков, чем-то мешающих городской санэпидстанции. Да, наш Кекос ходил на холмы травить сусликов, и это была его ответственная работа.

Как он её делал? Очень просто. Чтобы не тащить обратно порцию отравы, за которую расписался в конторе, высыпал весь пакет порошка в одну какую-нибудь ямку — на его взгляд, нежилую, присыпал сверху землёй, притаптывал, чтоб никуда не расплылось, усаживался на пригретом солнышком склоне, на свежем ветерке и начинал играть на мандолине в основном грустные вальсы, из которых самым любимым был «На сопках Маньчжурии». Кекос играл и играл, а вокруг вылезали из норок и становились на задние лапки спасённые им от отравления суслики. Пока он играл, они стояли как замороженные, слушали и шевелили губами. Может, подпевали, может, дожёвывали какую-нибудь вчерашнюю еду. Может, говорили Кекосу спасибо за то, что не принёс вреда их земляному племени, не оставил их детей сиротами. Так и проходил рабочий день, а иногда выходные.

Но не здесь я оставлю Кекоса, на его первой и, может быть, лучшей в жизни работе. Не на «зелёных холмах Африки», как их кто-то назвал, когда до нас добрался Хемингуэй. И не на другой работе, куда наш Кекос попал в более зрелые годы, когда мандолина в его руках сменилась на банджо. Да, после фестиваля, когда начали нас развращать, на весь Советский Союз было, наверное, пять банджо, и одно из них оказалось в ресторане в Кизыл-Арвате, в руках Кекоса. Но он недолго на нём играл. Он это банджо о голову разбил. Не пьяного офицера, лезущего под фартук официантки Джульетты. Не своего лучшего друга Топора, который фальшивил на гитаре. А о свою личную, когда делал цыганочку с выходом. На следующий день опять сусликам на холмах на мандолине играл. Такой грустный. Из ресторана его выгнали.

А оставлю я Кекоса на ваше усмотрение в громадном городе Москве, на Красной площади, вернее, около неё, в огромном замечательном гуме, в который он попал, возвращаясь из армии и ожидая поезда на Ташкент. В Ташкенте ему предстояло пересечь на самый грязный и самый медленный в СССР поезд Ташкент — Красноводск и уже с его подножки, небрежно позёвывая, как подобает истинному дембелю — с бляхой ниже пула, ступив на родимый перрон. Ехал же он откуда-то из-за Урала, где всю службу строил в какой-то тайге какую-то железную дорогу. Строил, строил, строил и так и не понял, откуда и куда она ведёт. Ещё искусанный таёжным гнусом, с противным запахом болота, не отбитым свежим гуталином на сапогах и крепким тройным одеколоном, Кекос приехал на метро с вокзала в гум, о котором так много слышал и где решил купить скромные подарки сестре и матери.

Но подарки Кекос не купил. Странно, скажете вы, если узнаете, что он провёл в гуме три дня. Три дня от открытия до закрытия, возвращаясь на вокзал переночевать и побриться в кафельном подвальном туалете, где всё время журчит вода. Но это именно так. Ибо первое, что услышал этот покупатель, войдя под высокий свод, было: «Граждане, потерявшие друг друга, встречайтесь у фонтана в центральной секции». И ещё много раз: «Ждите друг друга у фонтана».

И он пошёл к фонтану и встал там. У фонтана в гуме. Потому что другого такого места на земле, где бы ждали друг друга люди, которые потерялись, он ещё не встречал. У нас в Кизыл-Арвате это был базар. Крохотный, пыльный, с кособокими хромыми столиками-прилавками, а в основном с товарами, горками помидоров или гранатов, чуреками и лепёшками сыра, разложенными прямо на земле на платках. Но кто мог потеряться в Кизыл-Арвате? Смешно даже подумать. Через пять минут он сам собой, куда бы и зачем ни шёл, от кого бы ни хотел скрыться и кого бы ни хотел сам догнать, оказывался на базаре. У всех на виду — делай с ним что хочешь.

Но где искать человека, который потерялся за пределами Кизыл-Арвата, а именно там и потерялась учительница, Кекос до сих пор не знал. И вот

узнал. И сразу же подумал об учительнице. Его как озарило. И вот как был в чёрных погонах со шпалами, так он и встал. Мимо из разных отделов весь день шли люди. Они несли покупки, которые и Кекос хотел бы сделать для мамы и сестры. Шёлковые или нейлоновые платочки, чулки, духи, поясочки с блестящими пряжками, заколки и брошки, дразнящие медной позолотой, губную помаду, пластмассовые чёрные очки, стеклянные бусы, зеркальца и тьму других соблазнов. Скучных солдатских денег у Кекоса хватало на что-нибудь одно для сестры и что-нибудь одно для мамы. Но для этого надо было долго ходить, выбирать по всем трём этажам трёх громадных пролётов, в тысяче заманчивых отделов. А Кекос боялся отойти от фонтана даже на шаг: вдруг в этот момент она как раз и подойдёт? А его там нет. Он стоял целый день, купив только раз мороженое, и последним уходил, когда всё закрывали... Вернее, его выгоняли уборщицы. Несколько раз у него проверяли документы и выправку, но они были в полном порядке. Тем более с билетом на поезд. И, пока до поезда оставался хоть день или час, он имел право стоять и не терять надежды. И он не терял. Он стоял и стоял, слушая и слушая, замороженный обещанием: «Ждите друг друга у фонтана»...